

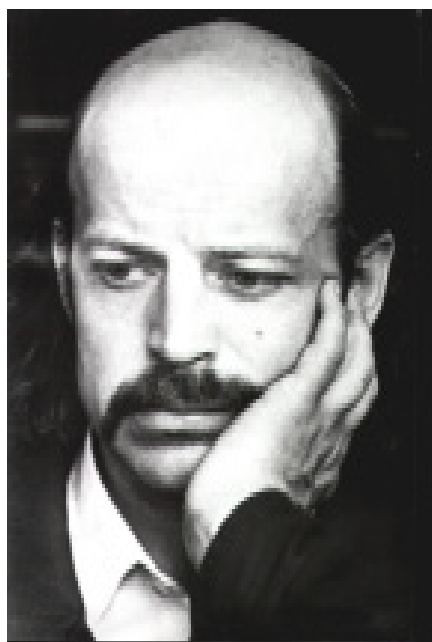
А. Раткевич



Июль-однолюб



ПВ



Александр
РАТКЕВИЧ

ИЮЛЬ-ОДНОЛЮБ

Стихотворения
Шестая книга



Полоцк
«Славянский путь»
2001

УДК _____
ББК 84(4 Бей)6
Р25

ISBN 985-6592-33-X

УДК _____
ББК 84(4 Бей)4

© ОО БЛС «Полоцкая ветвь», 2001

© А. М. Раткевич, 2001

Любить кого-то -- это ремесло,
влюблять в себя -- вот яркое искусство
уменья разжигать такие чувства,
с которыми уютно и светло.

И не считай, что мне не повезло
с любовью ни в теперешнем, ни в
прошлом;
давно известно: не казаться пошлым
подвержен лишь в себе таящий зло.

Теперь о главном. Я помыл посуду,
разбил тарелку. Ты сказала: --"Да-а!
Дебил..., сегодня спать с тобой не буду,
и вообще, -- не буду никогда".

Но я молчу. А как же, ведь иначе

Над здравым смыслом пелена запрета.
Девушка-ночь испугана, как лань,
и прячется под мышкою поэта.

Собрав осколки солнечного света,
я высыпаю их на неба ткань,
окантовав катренами сонета.

И ночь сладка, и чёрен шоколад,
и за окном следят за нами рыбы,
когда я пью твоих сосков изгибы,
и ты движением змеиным невпопад

из рук моих выскальзывает в сад
фривольных слов, хулы и Млечной Глыбы,
что заживляют раны и ушибы,
как будто время потекло назад.

Стихи не стихия, а линия жизни,
которая твердо меня
ведёт не к последней торжественной
тризне
над жертвенной дрожью огня,
не к славе, -- слащавой и дивной девице,
умеющей тайно хранить
подстать перелётной, но преданной птице,
полёта незримую нить;
не к сладкой, как сон, "золотой середине",
когда наступает пора
итожить и думать, что хватит рутине
себя выдавать на-гора;
а просто к тому, что в житейском потоке
условно зовется -- истоки.

Из всех известнейших искусств
одно не знает угасанья
в глубинах нашего сознания
пылающих незримо чувств.

Оно с божественностью Ярца,
как и в былые времена,
огнем весеннего руна
сжигает юношу и старца.

И если, несмотря на кредо
людской жестокости и бреда,
осталась ценности печать
в житейско-вспаханных бороздах,
то это вечное, как воздух,
искусство женщин обольщать.

Когда вчера ты произнёс опять,
как будто расколол рукой гранит,
что на таких, как я, земля стоит,
то я не знаю, что тебе сказать.

Ведь большинству нет дела до стиха,
им вообще на слово наплевать
которое нельзя перепродать
иль на себя натянуть, как меха.

Вот и живу теперь, как меж огнём
и глыбой льда, которые вдвоём
без трудности раздавят до нуля
любую гениальность или гнусь.

Так разве держится на мне земля?..
Я сам-то чуть на ней держусь.

О незабвенная, любовь я и в грош не
ставлю --
есть нечто большее, чему и названия нет
в пламенном царстве хладнокровно-седых
планет,
что на меня, как на зверя, устроило
травлю.

Это оно, достигнув силы, решило: сплавлю
мозг человеческий с бредом, вырву
сознания свет
в каждом, кто только смеет думать, что он
поэт,
а заодно для красы их тела окровавлю.

О незабвенная, стоит ли жить и не мыслить?
В сонме планет, в круговращении плоти их,
что означает и может ли что-то исчислить
капля, пылинка или неизъяснимый штрих,
или и впрямь неземного рассудка свих --

В преддверии дня, в замирании утра
в природе рождается сон
и льётся в меня нескончаемо он
сакральной рекой перламутра.

Всполошный гипноз, он врывается мудро
в лазурно-сквозной небосклон,
в цветение роз, в увядание лон
и в дрёму пыльцы златокудрой.

Возносится солнце лучистою пудрой
и веки мои серебрит,
и кружится сна соловьиная сутра,
баюкая трав малахит.

И нет ни тоски, ни раздора в природе
на благоуханном восходе.

Ну что ж, и я себе противоречу,
и голос мой, как брeнная ладья,
плывет по океану забвeнья
тебе, бeду неслышащей, навстречу.

Забыта предыстория, Судья,
что вечно отвергал и мир и сечу,
и не сумевший уберечь Предтечу,
подвержен сладкой сущности битья.

Всё перепутано, изолгано, сокрыто
от тех, кому сегодня не дано
испепелить забвения сукно.

И вот кричу сквозь дебри алфавита,
что есть ещё спасенье и защита,
но ты меня не слышишь всё равно.

Где ты летаешь, моя голубица?
С кем в тишине воркуешь?
И нелюбимого сладко ль целуешь
ночью, когда не спится?

Ярко ли ты, небылиц мастерица,
верных подруг волнуешь?
Или меня затаенно ревнуешь
к той, что тебе не снится?

Знаю, что веки свои разомкну:
молча тебя непонятной тоскою
обескуражу, обеспокою,
будто притронусь к щеке щекою
или в тебя окунусь с головою
и утону, утону.

Кажется, Пушкин ещё сказал,
что круг стихотворцев всё уже и уже,
что голос их слышится глуше и глуше,
и скоро они, не встречая похвал,
на ухо будут, как ритуал,
свои сочиненья, стихи, неуклюже
друг другу читать и при этом их души
не будут сверкать как сапфир и опал.

Ладно, посмотрим... Когда в воскресенье,
с работы придя, ты сказала: "Духи,
что ты подарил мне, сплошное мученье,
как впрочем и все остальные грехи", --
я понял: какое уж тут вдохновенье,
какие здесь, к чёрту, стихи?!

Непогрешимая, непостижимая,
странен и дик человеческий век:
я засыпаю под тяжестью век,
ну а вселенная всё нелюдимая.

Неповторимая, неизъяснимая,
тает твоё обаяние, как снег,
под белокипенью шепота нег,
только вселенная -- неугасимая.

Как же такое стерпеть, пережить,
если и явное, и потаённое
тоже пытаются мне ворожить?

Ложу расколется, семя вспенённое
вырвется бурно из чрева судьбы,
чтобы поднять её на дыбы.

Когда я смотрю в небесную высь,
свою безмятежность таящую в звёздах,
мне слышится голос, который, как воздух,
разлившийся в сизо-лунную слизь,

в моих растворяется венах-бороздах
и шмыгает там коварно, как рысь:

"Вдали от забот полночных и близь
того, что иные считают за роздых,

узнаешь, поймёшь и запомнишь навек,
что тайно тобой владеющий космос
есть тоже объятый огнём человек,

в котором сквозь тьмы вихрящийся осмос
один -- а не множество -- светится мозг.
И тело от жара тает, как воск".

Ты с детства обожала обольщать
мужчин, которым не было и дела
до тех проблем, которыми болело
твоё сознание, так сказать.

Ты в юности пыталась разыскать
не сладострастное мужское тело,
которого б твоё всегда хотело,
а просто принца, так сказать.

Теперь иное времечко настало,
и ты предпочитаешь с кем попало
любезно и коварно спать.

Вот и со мной ты поступила схоже,
чтоб хвастаться, что стихотворец тоже
в твоей обойме, так сказать.

Снова вечером лунным я
вышел на берег, где -- тарелка
бледно-розовая и мелко
стёкла битые, как подделка,
а за мною -- змея.

Звёзды медленно кап да кап
то на землю, а то в ладони,
переваривая погони
саркастический крап.

Ноги красные от разрезов,
руки белые, словно взгляд
непорочных протезов.

А в мозгах, как грозы разряд,
не змеиный ли яд?..

<...>

Мне комната твоя -- как белый и чёрный
сонет.

Какой мелодикой я сумею её наполнить,
какими фразами смогу рассказать о тебе
тому, кто будет слушать горькую песню об
июльском

то ли закате солнца, то ли его восходе,
когда на тонкой тропинке ты исчезала
вдали,
даже не оглянувшись, чтоб попрощаться со
мною
словами: "Если мы когда-нибудь
встретимся, милый..."?

И вот я в комнате твоей осторожно смотрю
на фотографии, которые помнят тебя
в цветастых платьях, с бантиком в
волосах...

Почему
приходят дни, когда среди позабытых
страстей
не знаешь, как спастись, а лучше куда
убежать

В стране глухих, слепых и безъязыких,
когда убийство и грабёж не грех,
поэту, утопающему в книгах,
живётся проще и понятней всех.

Плоды событий мелких и великих
он выплеснет на белые листы,
от тяжести и муки мыслей диких
освобождаясь, как от дурноты.

Но если в гуще скрытого презренья
к свободе, называемой -- стихи,
его заставят в старые мехи
вливать вино молодого вдохновенья,
то и ему порочные уста
сомкнёт мгновенно немота.

Слёзы сквозь смех -- у нас.
У людей будут драмы похлеще.
Ты придёшь с блокнотом в руке --
якобы поэтесса и влюблена...

Я накормлю тебя гречневой кашей
или любой другой,
но эта пища не будет сытной
или запретным приплодом.

И тут заявится моя жена,
бросит тебе три ласковых
и закроется в своей спальне.

Так, надеюсь, будет завершена
наша поэтическая встреча,
последняя... и первая.

Сонет, как и вино
пьянит и возбуждает,
когда в меня вливает
с сомнением заодно
сквозь ночи плотно
свой хмень, и вдруг взрывает
рассудок мой и тает
как призрак, как пятно
неизречённых мной
томительных вопросов
о смерти и тоске.

И вот стою, как Ной
среди молокососов,
с маслиною в руке.

Ты снова на картах мне нагадала,
что жить на земле дано мне не мало,
что буду я сыт, прилично одет,
досмотрен и женской лаской согрет.

А также среди смертей и аврала
сумею поймать коня капитала,
и, как дополнение к списку побед,
достигну в стихах успеха и... бед.

Вот новости! Мне ещё не хватало,
чтоб зависть моих друзей обуяла
от перечня этих удач.

Поэтому жизнь, как жало кинжала,
приятней, когда горит вполнакала;
и пусть я останусь незряч.

Есть на земле особые черви,
что не питаются молоком
или капустой, или морковью,
а исключительно -- тёплой кровью.

Есть у них масть козырная -- черви,
что ударяет, как молотком,
не по затылку, не по призванию,
а исключительно -- по сознанию.

Что это? Как это?.. Промолчу.
Разве поверит кто-то поэту
или, точнее сказать, рифмачу?

Или с червями -- зубы, как вилы?..
Вера их в том, что веры в них нету.
Сила их в том, что нет у них силы.

Счастливица, твой голосок
мне колокольчик напоминает,
который и ночью ни на часок
не затихает, не затихает.

Счастливица, наискосок
разве сейчас не ускользает
маленький, тоненький твой поясок?
Кто знает, кто знает?

Ты одинока и я одинок,
но колокольчик твой разливает
строгий запрет по моим губам.

В неразрешимости я изнемог.
Вот бы к твоим пригубиться ногам,
да гордыня не позволяет.

Есть у него негнущее чувство мести.
Люд просыпается рано, поздно и никогда,
Курит до посиненья, водочку пьёт, как
всегда,
и разгребаёт кучи ненависти и чести.

После идёт на работу, будто к невесте,
чтоб, веселясь и плача в родственном
стиле

"дада",
вдруг опрокинуть тарелку прямо на тех, ну да!
прямо на тех, на которых орал: повесьте!

Вот и висят теперь на жердине вместе.
Ветер слегка качает призрачные тела,
и не проходим, а так, сквозь потоки лести
слышен верёвки скрип: ни двора, ни кола.

Куда, дорогая, нам убежать, --
повсюду насмешек блещут копыта:
что мы, не скрывая чувств благодать,
лукавим, -- мол, правда в деньгах зарыта.

Кому, не пугаясь лжи, рассказать,
что, мы, расцветая, зреем, как жито,
что нам непонятна зависти рать,
которую много душ перебито.

И с кем поделиться тайною страсти, --
спокойной и буйной, крепкой и ломкой,
когда, как мечи, над нами висят
слова, от которых, как от напасти,
укрыться нельзя ни тихо, ни громко:
тебе восемнадцать, мне шестьдесят.

Я живу ни хорошо, ни плохо,
я живу -- потому что просто живу:
ночью мне колыбелью мягкой эпоха,
днём -- отравленным цветом срываю
молву.

Для тебя, незабвенная кроха,
я образец, который всегда на плаву,
потому что, не объят суматохой,
никогда сам собой не слыву.

Но позволь изъясниться без слов, --
я не оракул, мыслящий на улов,
и не скрываю, свой нрав теребя,
что увлечён не сладкой пылью цветов,
а силой зрелых и полезных плодов,

Мы расходимся плавно, как перья веера,
не разлюбив, не отвергнув друг друга,
не осознав, что расходимся: я -- в сторону
юга,
ты -- в сторону севера.

И когда в дали растворятся тел очертания,
мы поймём, что любви заживает рана,
что оборачиваться уже, как ни странно,
нету у нас желания.

Безусловно, расходящиеся всегда,
как бы больно и жалко не было им,
оставляют в пережитом пути не года,
а всего лишь потери дым.

Мы уже далеки, как север от юга,
но ведь земля -- воплощение круга.

Ты думаешь, что лёжа на диване,
пописывая бранные стишки,
дождёшься, предсказанью вопреки,
определённой прибыли в кармане.

Точнее, популярности. Но грани
меж тем и этим -- это как очки
слепому, как безногую коньки,
как буря в застоявшемся стакане.

Здесь, впрочем, мало логики, и в счёт
нам лучше взять, чтоб с носом не остаться,
условие последнего абзаца:
когда вода упорно не течёт
под камень, что века почёта ждёт,
наверное стоит приподняться...

Как надоели эти мне скандалы!

А ну-ка, наберу я номерок:

-- Алё, красавица?! Я жду. Полны бокалы.

Мы проведём прекрасный вечерок.

-- Не надо, мальчик. У меня шакалы

в мозгах устроили тяжёлый рок --

увеселительные ночи, как вокзалы,

здоровью, к сожалению, не впрок.

-- Милашка, голос твой, как будто склеп

на кладбище, а может, как в бордельном

подвальчике скулёж воображал.

Брось, приходи -- всё будет в стиле СЭП...

Чёрт! кто там засопел на параллельном?..

Опять скандал, опя-ять сканда-ал.

Поэт, безумец, дирижёр
оркестра трансцендентных звуков,
среди подлунных скрипов, стуков
ты слышишь ли вселенский хор?

Среди сожжённых виадуков,
скреплявших Хаос и Собор,
тебя волнует ли напор
словесных человеческих трюков?

Молчишь и топчешься вразвал.
Ты здесь сегодня стал обузой,
как будто сам себя украл.

Ну что ж, покинь наш карнавал --
ты пуповину оборвал,
тебя связующую с Музой.

Твоя любовь назойливой бессонницей
рассудок обволакивает мой,
и я, как тяжелой согнутый сумой,
как вытоптанный разъяренной конницей,

тебе, непредсказуемой стороннице
свечение слов скрывать молчанья тьмой,
не говорю, что я почти немой
и что во мне, как в сумасшедшей звоннице,

твой голос отрешённо колоколен,
и что я мрачен, словно осокорь,
и словно чем-то непостижным болен;

и вот лежу, и над собой не волен,
и непонятно, чем я недоволен,
и где ты подхватила эту хворь.

Я его одновременно ненавижу и люблю,
 этот город, так похожий на другие города:
 в нем желание наживы -- чингисханская
орда,
 а добро и сострадание уподоблены нулю.

И, завидуя друг другу, и мужик, и
 чистоплюй
 вечно делят меж собою то дорогу в никуда,
 то подземные алмазы, то надземные стада,
 то сияющую падаль, что подобна хрустально.

Но сквозь чада истечение незамечено зову
 неприкрытое презрение -- слов полночную
сову
 и, как гниль, в себе срезаю
 разрастающийся

страх:

эта ночь, как всё, иссякнет на предсмертия
часах,
 и задвижка жизни звякнет незамеченно

Не верь ни в предсказанье, ни в судьбу.
Былинной песней расплескалось время,
как будто бы втекло в пространство семя,
чтоб породить кровавую косьбу.

Но, может быть, подобное табу,
наоборот, сорвётся, словно стремя,
и ты, упав, своё проломишь темя,
и смерть багровой лентою на лбу

проступит?.. Но ведь сказанное всуе --
есть предопределение твоё,
которое сквозь вечное нитьё
тебя в своём задушит поцелуе.

Поэтому никто не может знать,
когда и где я буду умирать.

Ты больше мне нравишься, если пьяна,
и в спальню владычицей входишь,
и злишься, когда меня там не находишь,
а если находишь, то, пыла полна,
срываешь одежду с меня, и волна
таких ощущений мой дух накрывает,
что он раскаляется и не скрывает,
как сущность его и света, и темна.

Но это прелюдия... После ухода
стихии, срывавшей и двери с петель,
ты снова, как после разгула погода,
привычно уймёшься, поправишь постель,
уляжешься молча и тихо, какмышь,
к стене отвернёшься и вдруг захрапишь.

Не говори, что мы давно не пара --
об этом я и слушать не хочу,
тем более, что мне не по плечу
мудрёных слов ревущая отара.
Пусть терпкий дым взволнованной сигары
мне выест всё, о чём я хлопочу,
и я, как окрылённый, полечу
туда, где обволакивают чары.

"Что обволакивает?" -- был вопрос,
и ты неоднозначно ухмыльнулась,
пошла на кухню и вернулась,
неся в руках с кофейницей поднос.

И вдруг споткнулась, чашечки разбила,
заплакала: "Ведь я же говорила..."

Жизнь первична и неизъяснима,
как зерно, упавшее клинком
между соловьём и васильком,
чтоб произрасти неповторимо.

Но когда наступит срок незримо,
эту жизнь, созревшую тайком,
до иглы отточенным серпом
жизнь другая срежет одержимо.

И ответа нету на вопрос:
почему всё так, а не иначе
происходит в белом мире рос,
чёрный оттеняющий богаче?

Впрочем, этой тайнописи цветъ
я сумел у смерти подсмотреть.

Ты любишь обалденовскую скорость
и потому на газ предельно жмешь,
и вышибаешь из меня не только дрожь,
но даже страх -- откормленную серость.

И мне уже не угрожает старость,
и мысль моя закончила галдеж,
и хоть дорога ощущается как нож,
но разум напрочь отторгает сирость.

Вот почему так весело в пути
ты напеваешь песенку, в которой
есть и такие странные слова:
"Когда-нибудь я буду в заперти
сидеть одна, упрятавшись за шторой,
и думать, думать, что ещё жива".

Здесь дом стоял, в котором муж с женой
взрастили дочь, что вскоре нагуляла
мальчонку, от ругательства и сала
развившегося с психикой больной.

Но и ему с девицею чумной
вполсилы, вполнапруги, вполнакала
зачать случилось некое начало,
но, жаль, в утробе окачурилось оно.

Окружность завершилась: сын некстати
повесился, а дочка от беды
сlegла, напившись огненной воды,
и умерла, забытая в палате.

Жена и муж пропали, как в кино;
а дом сгорел, причём давным давно.

Когда нет выхода, я ищу вход.
Никогда не говори, что любишь...
И если я спокоен, как черепаха,
значит, обаятелен и бессмертен.

Майтхуны мне надоели, как огород.
Воистину, духовное не пригубишь,
тем более от души или от страха,
или от того, что получил орден.

Ну что ж, мой жадный взгляд поймал
абсурд.

Есть у меня одно предощущенье:
не важно, кто я, немец или курд,
но важно, что разъяв своё смущенье
и разгребая этот бред серийный,
я понял, что мечты не калорийны.

Как отцветёт на полях золотистая рожь,
выйдет оттуда русалка с венком

васильковым

и запоёт надо мной голоском вересковым:

"Если полюбишь меня, никогда не
умрешь".

Я испугаюсь -- по телу рассыплется дрожь:

"Знаю, как ты прилипаешь к мужчинам

рисковым,

чтобы потом еле слышно магическим

словом

в сердце вонзить заколдованно-пламенный

нож".

Что это слово? Какая трагичная сила
в нём зашифрована, скрыта в его глубине?
Или печать помрачения сияет на мне?

Канет русалка, венок васильковый уныло
будет с берёзы слезою стекать на стерню...

Меня покинула рассудка сила.
Я никогда тебе не изменял,
хоть ты меня нисколько не любила,
затеивая попусту скандал.

Но оказалось, что другое дело,
когда я с незнакомкой переспал:
ты стала поразительно умело
дарить мне свой любовный идеал.

Как быть теперь? Ведь ты совсем не
знаешь,
что я себя ищу на стороне,
и преданною ланью льнешь ко мне,
и в лунном поцелуе замираешь.

Где логика, связующая нас? --

Нет ни вчера, ни завтра, ни сегодня,
есть только путь вперёд-назад
по неисхоженной окружности,
когда от жизненной ненужности
не ноги от ходьбы болят,
а проникает в мозг украдкой сводня.

Она двулика и двусмысленна. И взгляд
её наполнен амальгамой,
чтоб мелкой бытовой драмой
мифичный отражать распад,
в котором в то же время сад
с запретными плодами с самой
что ни на есть цветущей гаммой
вдруг превратится в циферблат.

Я верю в то, во что не веришь ты,
чему нет имени и места
в твоём сознании; и Веста
давно твои сожгла мосты.

Я верю, что отравлены цветы
в саду, как свадьбою невеста,
и расплескалось зло, как тесто
противоядия от сты-

кования четвёртой из планет
с ослепшей от стыдобы Сфингой.
И пусть не плачется форминга
над тем, чего на свете нет.

А ты, Фома, не веришь и не верь,
что властвует над миром зверь.

Канон сонета обожая изменять,
я никогда тебе не изменю,
одновременно, изучая, как меню,
стихосложенья поступь, нрав и стать.

Что за занятие -- звук к звуку прилагать,
но я тоски твоей пробью броню,
когда рискованно словами прозвеню:
мне, вообще-то, на мораль плевать.

"Опять завёл свою шарманку с будуна"! --
ты закричишь смешно и превосходно,
постельный шарж не позабыв, что модно,
передо мною разыграть вольготно.

Вот новости, вот верная жена!..
Да спи ты, с кем тебе угодно.

Мой стих служить не будет никому.
Нет в мире правых, лучших, вечных.
Среди речей безумных и увечных
один несу поэзии суму.

Мой стих учить не будет никого.
Зачем в потоке дел беспечных,
в среде суждений сумных и увечных
поэзии мусолить волшебство.

Вопрос всегда резоннее ответа,
когда зализывает раны сучка-ночь
в преддверии кровавого рассвета.

И пусть Луна не вуалирует своё
пристрастие к соскам Небес, её
не лучше ль в ступе истолочь.

Я не люблю твоё обнажённое тело
за слишком приятный его аромат,
который меня раздражает стократ,
и от тебя отторгает всецело.

И вообще, какое мне дело
до опьяняющих разум гранат,
если твой взгляд, как восточный булат,
вонзается в сердце моё до предела.

О, да, я законченный явно лопух,
когда запрещённое думаю вслух
и тем раздражаю живущих несмело,
как и живущих смело за двух.

Я не люблю твоё обнажённое тело,
но обожаю твой обнажённый дух.

Не нужно верности, желанная моя, --
люби того, кого захочешь,
кого оплачешь, обхохочешь,
ведь ты сама себе судья.

И пусть от острых наговоров нет житья,
не прячь себя в стене стеснения,
не конструируй объяснения,
что не супруг и не любовник я.

Дух женщины с годами молодеет,
стареет тело. Каплет молоко
минут и лет, тягучее, как мёд.

И кто проснётся, кто себя вернёт,
когда и пепел жизни охладет?..
Так пусть шипит бокал с клико.

Словно слезинки гранула
в искрящемся вине,
медленно солнце кануло
в мягкой морской волне.

Выплеснулся над заревом
пригоршней и вразброс,
словно волшебным маревом
звёзд золотой хаос.

Вызрели лунные очи,
чтобы хозяйке-ночи
долг серебром вернуть.

Бусами из аметиста
высыпало монисто:
Млечно-холодный Путь.

Осень. Старческий маразм.
Прилетели птицы, сели
в изголовие постели,
сквозь ехидство и сарказм
проявив энтузиазм
тем, что скопищем пропели:
кроме щёлканья и трели,
всё на свете -- плеоназм.

Жёлтый, красный, синий, чёрный...
Ольга, света, ева, нина,
мягкий знак. Молебный рык --
и сквозь воздух стихотворный
надорвётся не тканьина,
а всего лишь мой кадык.

Плюй на неё и говори, что падаль она,
 руки её испещрены мужскою плотью,
 губы вином изгажены, в глазах щепотью
 жажда животной страсти острой болью
 видна.

Раны словами ей, как лезвием сатана,
 на сердце наноси, чтобы её ломотью
 жизнь никогда не прятали в веру Господью,
 будто бы этой жизнью вскормлены
 письмена.

Вижу, что так и будет. И знаю, что из
 окна
 многое искажается до или после сна
 в возгласе у-лю-лю...

Это давно размерено, выгнуто, как змея.
 Я не Христос, за которым тысячи шли, но
 я

Да ради бога, не вини меня ни в чём,
а вспомни, как я в комнату вошёл,
и ты с печальных глаз своих сняла надлом
и с голоса -- страданья ореол.

Как острожно я дотронулся рукой
до твоего полночного плеча
и как ты вздрогнула и вскрикнула: "Какой
сегодня зной от лунного луча!.."

Пойми меня, прими таким, как был и есть,
и незачем бывшее ворошить
среди безмолвия, когда уже не счесть
ни ссор, что ущемляли нашу честь,
ни примирений, от которых трудно жить,
а может быть, наоборот, легко...

Ты стала намного взрослее и строже,
скрываешь улыбку под лесом ресниц,
пытаешься блеском смешных небылиц
украсить печаль, повзрослевшую тоже.

Я пью измененья, как воду криниц,
и чую прохладу, и знаю, что ложе
остывшее наше не будет похоже
на дрожь и сверканье вечерних зарниц.

Ты стала иной -- ты разлюбишь меня
и бросишь теперь на границе отточий,
а я на судьбу твою снова нанижусь.

И верю, что в шёпоте звёздного дня,
что в грохоте солнечно-плачущей ночи
до мщенья я никогда не унижусь.

На пороге нового века
я присяду, чтоб осознать:
жизнь, что прожита, -- ипотека,
что не прожита, -- благодать.

Было то, чему и название
подобрать нелегко сейчас:
то ли радость, то ли страданье,
в то же время -- и плач, и пляс.

Но, снимая обувь при входе,
я не жалею, что в природе
все равны, и век невелик.

Почему же при первой встрече,
как в предчувствии чёрной сечи,
мне его ненавистен лик?

Я знаю, что должен лепетать "спасибо"
тому великолепному случаю,
когда я появился на свет,
и теперь сочиняю лунную лирику.

Но самое удивительное, что сквозь все
насмешки,
что льются на мою голову,
у моей лирики, то есть у меня, всё-таки
нашлась
одна-единственная поклонница.

О, благосклонная, всё сказанное --
лунатизмы,
и если ты хочешь уличить меня в глупости,
то лучшего случая невозможно найти.

А для начала: вот тебе ключ от моего
сердца,
и да здравствует день, воскресный и
солнечный,
когда ты родилась.

Мне сорок пять. Обыкновенно.
Моя улыбка примелькалась.
Передо мною расплескалась,
как лужа, серость вдохновенно:

"Промолвить если откровенно,
то я по жизни удивлялась,
привычка эта и осталась
меня ласкать самозабвенно:

как всё в поэте ненормально".
Мне сорок пять, и я формально
в ладу с такой формулировкой,

но с измененною концовкой:
поэт -- вот это натурально,
всё остальное -- ненормально.

Моя любовница, подстать крутой газете,
вещает солоно подругам и врагам,
что я совсем с ума сошёл, зудя, как хам,
о том, что женщины-то общие на свете.

Но мало этого: хоть я просил в секрете
держать всё сказанное мною тут и там,
она решительно разносит по устам,
что и мужчины тоже общие на свете.

Вот так я влип в позор своим умом
отцветшим,
А что поделаешь с такою процедурой?
Да ничего... и ты права, любовь моя,

как без малейшего сомненья прав и я,
тебя, болтунью, называя полной дурой
за то, что увлекалась сумасшедшим.

Я знаю только одно искусство --
среди способности ярко жить,
среди разлада ума и чувства
уменьше тело твоё обнажить.

Когда от жажды себя унижить,
уже сознания изорвана нить,
как сладко тело твоё приблизить,
но никогда в него не входить.

Сомкнутся веки, застынут руки
в полёте ангела и сатаны,
и вздрогнет сердце от смертной муки,
и онемеют от крика звуки,
когда восторг среди тишины
сольётся с резким взрывом струны.

Стихи сегодня пишут все подряд,
кому ни лень и кто -- ни зги,
сливая самогоном мыслей яд
в бутылки, то есть ... тьфу! -- в мозги.

Пьянеют все: кто больше, кто чуть-чуть --
в зависимости от чутья;
но примечательно, что каждый пялит грудь
и верещит: а кто судья?!

О да! Написаны тома, тома...
которые возможно -- что за честь! --
распространять за деньги, задарма,
но их критиковать не стоит лезть,
и вряд ли их возможно перечесать,
а напечатавши, -- сойдёшь с ума.

Ты пишешь стихи губной помадой на
зеркале,
а я, ходячая сволочь, их не читаю,
упорно пытаюсь стереть хладнокровным
пальцем
с поверхности серебрящейся нежные
строки.

Но мысли, те, которыми зеркало полнится,
со скользкой глади не исчезают, а только
размазываются, приобретая неожиданно
живые черты твоего обнажённого тела.

И я, лаская его глазами, намеренно
в себе копошась, пытаюсь коварную
трудность
решить: что лучше сейчас: платонизм или
похоть?

И вдруг понимаю: ты ритмизируешь мысли
и возвращаешь из тлена такие фразы,
которые плотью входят в моё сознание.

Жизнь перемалывает всё:
разъединенье и любовь.
и я вращаю встарь и вновь,
как жерновое колесо,
ещё не прожитое со-
зревание себя в себе,
затягивая на судьбе
скользящее лассо.

И сыплется мука годов
на будущего стол,
усеивая пылью слов
сплоченье и раскол.

И слышен сквозь гранитный скрип
гортанный хрип.

В меня влюбляются не сразу,
а постепенно, не спеша,
пройдя мучительную фазу
от хладнокровия до ша-
ловливой огненности мысли:
вот новость, странная вдвойне, --
казалось, чувства все прокисли,
но ты вчера приснился мне.

Теперь, как будто по заказу,
мои подруги, вот беда,
твердят заученную фразу:
и что ты в нём нашла, балда...

В меня влюбляются не сразу,
но почему-то навсегда.

Послезавтра, под вечер, вялости,
накопившейся за день, я не сдержу,
и тебе откровенно и зло скажу:
есть любовь -- разновидность жалости.

Завтра снова, придя с работы, ежу
уподобясь из-за усталости,
обнаружу, что тленьем жалости
я теперь, как никто, дорожу.

А сегодня, когда удалости
дополна, что подстать себя кутежу
посвятить, не спеша тебе предложу
выразительность тонкой жалости.

Ты же спросишь: "Понятно ль ежу,
что от жалости я дрожу?"

Я драмы сочиняю без названья
и ставлю не на сцене их,
а там, где жизнь без доли содроганья
преображается в каприз.

Мне ни к чему потуги репетиций
и грима лицемерный штрих,
я вообще, признаюсь без амбиций,
отверг актёров и актрис.

В моих спектаклях роли исполняют
лукавство, подкуп и вражда,
что по сценарию с земли стирают
народы, страны, города.

Вот только для кого, в конце добавлю,
я драмы окровавленные ставлю?

Нет у меня ни забот, ни хлопот,
маюсь один на диване скрипучем,
и телевизор, разинувши рот,
сутки смотрю, ленотою измучен.

То задремлю, то проснусь, то в кипучем
рвении пищей наполню живот,
или -- ошибками жизни научен? --
захохочу, как сплошной идиот,

вспомнив похабно-смешной анекдот.
Кажется, счастлив без всякой иронии,
может, с небесных доносится крыш:

"Радость ты наша, вот если б в агонии
этой побольше горели... малыш,
хоть на Земле воцарилась бы тишь".

Поэт сегодня ничего не значит.
Когда всеильные сквозь сладкий дым
сигар
снимают с жизни пенистый навар,
он взгляд в своём сознание прячет.

Когда убогие азартно скачут
вокруг тельца, испытывая жадный жар,
он от бессилья изменить кошмар
в самом себе тихонько плачет.

Ну что ж, и в этом есть разительный резон,
но перековывать себя не стану.
Что мне судьба -- стеклянно-хрупкий звон,
подстать разбитому стакану.

Но если я в земле бесследно кану,
то и нажива -- только сон.

Ты добреешь понемногу --
у тебя квартира есть,
лимузин и, слава богу,
денег столько, что не счесть.

Ты теперь с эпохой в ногу,
и вполне умеешь плесть
как холодную тревогу,
так и пламенную лесть.

Для тебя уже судьбы
поворот и глух, и нем --
ты имеешь, что хотела.

Да, и слизываешь спело
со своей крутой губы
доброту, как сладкий крем.

Безделица какая: пресыщенный богемой,
которая готова безудержно плевать
на слов моих горячих неслаженную кладь,
я снова озабочен дешёвою проблемой:

а что, теперь задумал хоть кто-то, с
 диадемой,
 а может быть, в лохмотьях, слащаво
 порыдять
 иль горько посмеяться, когда меня опять
 стошнило ненароком банальной поэмой?..

И вот несу я молча торжественное блюдо, шарахается каждый, кто сыт и кто не сыт, разбрызгивая фразу: смотрите, экий фрукт.

Ну что ж?! И я брезгливый. Я тоже, как Иуда, прикинусь, что любовью и от меня разит... что даже и потомкам не нужен мой продукт.

Тебе не пишется, а я безбрежно
нафарширован ритмом и тоской, --
непросветлённостью крошечной
испеляю свой покой.

Но ты себя не истязай поспешно
ни злой, ни желчною строкой, --
и нам придётся неизбежно
исчезнуть в памяти людской.

Что будет там, мы не узнаем:
сожгут, развеют или вновь,
насытившись вечерним чаем,
проявят трепетно любовь,
прочтя понятное и спорное,
хотя бы как снотворное?

Когда не знает женщина, чего
она желает или не желает,
в её глазах безумства торжество,
как страх старения, сияет.

И надо ли тогда, кто знает,
плести успокоенья мастерство,
чтоб от неё услышать-то всего:
"Меня никто не понимает"?

А суть всегда обыденно проста,
как солнца свет на зелени листа,
ведь женщина, когда она считает,
что все мужчины пошлости под стать,
любовь свою боится показать,
и даже от себя её скрывает.

Признаюсь я, что взору моему
нет ничего приятнее, как только
вид озера вечернею порой,
когда заходит солнце за горой,

когда, опережая полутьму,
голубизны небесной тает долька
за берега волнистою грядой,
объятая озёрною водой.

Тогда-то я баюкаю в себе
наивную младенческую думу:
пусть, неподвластен городскому шуму,
сижу в деревне в крохотной избе,
но, полнясь ночью, что благоухает, --
мой дух над озером витает.

Я говорю, что мне семья в нагрузку,
что шик её традиций и стихий
меня не вдохновляет на стихи,
как чай, что выпит с сахаром в прикуску.

Я говорю, как загнанный в кутузку,
что мне под звон моральной чепухи
непредсказуемо-божественны грехи.

Но ты молчишь... Застёгиваешь блузку,
закалываешь волосы, улыбку
с лица снимаешь, словно крем ночной,
и не желаешь ссориться со мной.

А я, почти что делая ошибку,
шепчу себе под нос, не зол, не груб:
ты -- однолюбка, я -- не однолюб.

Качается мой ресторан безымянный
на тихих речных волнах,
и вижу: в твоих молчаливых очах
трепещет закат багряный.

Былинные воды -- как сон, как нежданный
покой при ночных свечах;
и ты не уходишь, и тлеет впотьмах
твой взор -- уголёк дурманный.

И я не узнаю, какое предвестье
под гнётом созвездий-борозд
тебя опалает, как лунный погост
на небе, -- сердец перекрестье.

Но плещутся волны и дремлет предместье
под песню сонную звёзд.

Всё тлен и прах. Всё прах и тлен.
Блистали многие словесной филигранью,
но всех укрыл сакральной тканью
небесно-звёздный гобелен.

Когда умру, то -- что взамен?
Какой конкретно наслаждаться буду данью?...
Ни в чём нет смысла; и за гранью
отжившего -- забвенья плен.

Земля не ведает ни жалости, ни злобы,
когда в огне своей утробы
сжигает без остатка небоскрёбы
и хижины гнилые, чтобы
в свой час сквозь зло и благодать
живое снова породить.

Секреты чувств моих тебе не разгадать,
как не отвергнуть их пыланье.
Сгорает всё: и смерть, и благодать,
оставив углями -- желанье.

Оно томительно в сознании моём
сквозь дымку сказочности тлеет.
И ты, себя скрывая под дождём,
смолчишь, что в сердце искра рдеет.

Не верь, любимая, всему, что говорю, --
доверься пепельному взгляду,
как потаённому обряду.

И если ночь, подобно сизарю,
опять зажжет предчувствия зарю,
не думай, что пожар случаен.

Хоть ты мудра, а я отчаян.

Содержание

1. "Любить кого-то -- это ремесло..."
5
2. "Над здравым смыслом пелена запрета..."
6
3. "Стихи не стихия, а линия жизни..."
7
4. Из всех известнейших искусств..."
8
5. "Когда вчера ты произсёс опять..."
9
6. "О незабвенная, любовь я и в грош не ставлю"
10
7. "В преддверии дня, в замирании утра..." 11
8. "Ну что ж, и я себе противоречу..."
12
9. "Где ты летаешь, моя голубица?"
13
10. "Кажется, Пушкин ещё сказал..."
14
11. "Непогрешимая, непостижимая..."
15
12. "Когда я смотрю в небесную высь..."
16
13. "Ты с детства обожала обольщать..."
17
14. "Снова вечером лунным я..."
18

27. "Как надоели эти мне скандалы..."
31
28. "Поэт, безумец, дирижёр..."
32
29. "Твоя любовь назойливой бессонницей..."
33
30. "Я его одновременно ненавижу и люблю..."
34
31. "Не верь ни в предсказанье, ни в судьбу..."
35
32. "Ты больше мне нравишься, если пьяна..."
36
33. "Не говори, что мы давно не пара..."
37
34. "Жизнь первична и неизъяснима..."
38
35. "Ты любишьобалденовскую скорость..." 39
36. "Здесь дом стоял, в котором муж с женой..."
40
37. "Когда нет выхода, я ищу вход..."
41
38. "Как отцветёт на полях золотистая рожь..."
42
39. "Меня покинула рассудка сила..."
43
40. "Нет ни вчера, ни завтра, ни сегодня..."
44
41. "Я верю в то, во что не веришь ты..."
45

56. "Стихи сегодня пишут все подряд..."
60
57. "Ты пишешь стихи губной помадой на
зеркале..."
61
58. "Жизнь перемалывает всё..."
62
59. "В меня влюбляются не сразу..."
63
60. "Послезавтра, под вечер, вялости..."
64
61. "Я драмы сочиняю без названья..."
65
62. "Нет у меня ни забот ни хлопот..."
66
63. "Поэт сегодня ничего незначит..."
67
64. "Ты добреешь понемного..."

Литературно-художественное издание
Раткевич Александр Михайлович
ИЮЛЬ-ОДНОЛЮБ. Стихотворения.
Шестая книга. Полоцк, 2001 -- 80 с.

Рекомендовано к печати
Советом ОО БЛС "Полоцкая ветвь":
211400, Полоцк, ул. Гоголя, 15.

Набор и верстка А. А. Раткевича
Подписано к печати 01.10.01
Формат 60х84 1/32. Усл. печ. л. 2,25
Бумага офсетная. Гарнитура TextBook.
Заказ № _____. Тираж 300.
ЛВ №329 от 16.10.98 г.

ISBN 985-6592-33-X



Изготовлено на Rikon Priport. ЛП-131.
ПРУПП "Наследие Ф. Скорины"
211400, г. Полоцк, ул. Гагарина, 8

